

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	7
Средневековье:	
образ культуры и культура образа.....	11
<i>Accessus ad auctores</i>	11
<i>Христианство и культура</i>	18
<i>Средневековый человек?</i>	24
<i>Время и место</i>	30
Истоки: Священное Писание и его читатели.....	38
Откровение сокровенного и языческая религиозность поздней Античности.....	52
Между небом и землей. Христианская антропология и особенности раннего христианского искусства.....	77
Эпоха Отцов.....	115
Символическое мировоззрение и его парадоксы.....	141
Презрение к миру и красота творения.....	180
Праздное и непраздное любопытство.....	197
Человек на земле.....	228
Апокалипсис сегодня.....	257
Небесная бухгалтерия.....	285
Новый «шестоднев».....	323

Астрология и эффективное воображение	337
Свобода и правда в средневековом искусстве	373
Копии, цитаты и риторика образа	417
Неуместность пространства	454
Споры о соборе	483
Заключение	521
Библиография	530
Предметно-именной указатель	558

ПРЕДИСЛОВИЕ

Первую версию «Тысячелетнего царства» я опубликовал десять лет назад. Генетически она восходит к моим университетским конспектам середины 1990-х гг. Тогда я учился в МГУ на кафедре истории Средних веков, слушал лекции М. А. Бойцова, А. Я. Гуревича, Г. Г. Майорова, Г. К. Косикова, О. С. Поповой, А. А. Сванидзе, О. И. Варьяш, Л. М. Брагиной, С. П. Карпова и других замечательных педагогов. Едва ли не половины из них уже нет с нами. На рубеже тысячелетий я поехал в Париж и учился там в Высшей школе социальных наук (EHESS) в группе исторической антропологии, созданной Жаком Ле Гоффом. За несколько лет в моей жизни возник парижский круг общения — как с живыми классиками, так и с такими же начинающими медиевистами, как я, многие из которых теперь сами ходят в профессорах на трех континентах. Двадцать пять лет я провел, преподавая сначала на родной кафедре в МГУ, потом, до совсем недавнего времени, в Высшей школе экономики. Всем трем моим университетам, учителям, коллегам, друзьям я многим обязан, обязана и лежащая сейчас перед читателем книга.

Нас с самого начала учили концентрироваться на малом. Любое обобщение позволялось лишь в рамках введения какого-то конкретного события, текста или образа в исторический контекст. К счастью, как я сейчас понимаю, никому из моих учителей не приходило в голову давать мне задание написать эссе, скажем, о Крестовых походах, немецком романтизме или древнерусской живописи XV в. Из нас росли

эмпириков, и всякую мысль мы должны были подкреплять, во-первых, историческим источником, во-вторых, мнениями исследователей, которые высказывались по поводу заинтересовавшего нас текста или изображения. Эта исследовательская матрица проста и понятна, более того, она ничем не отличается от французской научной модели, с которой я познакомился в Париже, а потом в лондонском Институте Варбурга. Четвертое (и, видимо, последнее) поколение «Анналов» — Жан-Клод Шмитт, Мишель Пастуро, Жером Баше — в университетских классах оказались такими же «занудами», как мои московские учителя. Мы медленно читали и комментировали латинские тексты, так же медленно описывали и анализировали памятники средневекового искусства.

Но как написать книгу о средневековой культуре, если руководствуешься инстинктом любое высказывание подкреплять сноской и желательно исчерпывающей библиографией на семи языках? Любой мой коллега поймет, что список источников по выбранному мной сюжету будет не более чем выборкой из моих собственных исследовательских и литературных пристрастий. Десять лет назад я решил опубликовать амбициозную книгу с довольно куцым, пусть и семязычным, аппаратом. С тех пор многое изменилось и в науке, и во мне. Выпустив несколько поколений медиевистов в созданной мной в НИУ ВШЭ магистратуре «Медиевистика», ныне переименованной и перекроенной, я решил, что должен все же требовать от себя того же, чего мы ждали от наших «медьевалят». Зануда зануден во всем: сев в 2024 г. за текст 2014 г., я понял, что слишком многое нуждается в пересмотре. Дело не только в дюжине ошибок и опечаток, которые следовало исправить, а в изменении моих собственных навыков, приемов, моей картины мира. Что-то в старом тексте мне сегодня показалось избыточным, что-то — недосказанным. Ровно посередине, в 2017–2018 гг., лежит моя докторская диссертация о разных аспектах культуры

Запада XI–XIV вв., а также десятки статей и переводов средневековых текстов. Короче, обычная жизнь университетского медиевиста. Всем этим мне захотелось поделиться с моим читателем — получилась почти новая книга.

Из прежнего, конечно, сохранилась общая канва повествования, отчасти хронологическая, отчасти тематическая. Сохранился почерк: я всю жизнь изучаю тексты и изображения, созданные в Средние века, но не только. Описание и анализ памятников соседствуют с разбором конкретных мест из конкретных текстов. Я многое перевожу сам, потому что перевод по определению — трактовка. Но труд переводчика для меня свят, поэтому, когда существует добротный перевод, сделанный кем-то еще, я считаю своим долгом приводить именно его. Это значит, что я соглашаюсь с его формой и смыслом и готов строить на нем свое здание. Тешу себя надеждой, что за прошедшие несколько лет немного поднаторел в переводе как прозы, так и поэзии, хотя и не мне судить о том, насколько это удастся. Подчеркну главное: для меня в том, что и как переводит медиевист, и состоит его метод. Точно так же, говоря о памятниках искусства, в основном в моих фотографиях, я иногда позволял себе довольно пространные описания, чтобы читатель не воспринимал их просто как сопроводительные иллюстрации: их функция в этой книге совсем иная. Как и с текстами, их подбор — дело сугубо индивидуальное, следовательно, субъективное. Здесь есть шедевры, есть произведения, почти никому не знакомые. Степень их репрезентативности для раскрытия темы на моей совести.

И последнее из сохраненного от первого издания. В этой книге множество отсылок к современным реалиям, даже к тривиальной трамвайно-кухонной повседневности России и Запада. Этот прием читатель волен толковать как реверанс себе (*captatio benevolentiae*), возможно, он отнесется к моему

кокетству со вполне объяснимой иронией. Прием этот отчасти оправдан опытом преподавания в университетах и школах нескольких стран, возможно, моей нынешней работой в образовательном проекте «Страдариум». Просветительство для меня не пустой звук, но я не понаслышке знаком со всеми его сложностями и опасностями. Рассуждая о высоких материях, я как минимум должен разбудить любопытство слушателя или зрителя, отвлечь его от телефона. Лишь тогда загорится искра несправедного любопытства, состоится искомый «диалог эпох». Стараясь честно описать Средневековье на его собственном языке, я понимал, что говорю на языке моего поколения, далеко не всегда совпадающем с языком моих слушателей, сверстников обоих моих детей. Много пришлось закавычивать, не только цитаты, но и, казалось бы, простые, привычные нам слова. Тем не менее я старался избегать специфической терминологии, ища путь к сердцу не только коллег-историка, философа, искусствоведа или филолога, но и всякого любознательного читателя, привычного к современной гуманитарной литературе.

Май 2025 г.

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ: ОБРАЗ КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРА ОБРАЗА

Accessus ad auctores

Русскоязычному читателю, мало-мальски знакомому с отечественными традициями изучения средневековой культуры, сразу придут на ум, во-первых, ее *элементы*, во-вторых, ее *категории*. Первые были разработаны и описаны Петром Михайловичем Бицилли (1897–1953), вторые — Ароном Яковлевичем Гуревичем (1924–2006). Книги этих замечательных историков и мыслителей — «Элементы средневековой культуры»* и «Категории средневековой культуры»** — разные по материалу, но схожие по методологии и по идейной направленности, по сути, единственные обобщающие работы, написанные на русском языке. Исключение — эссе не менее замечательного мыслителя Льва Платоновича Карсавина («Культура средних веков»***), во многом завершившее его путь историка-медиевиста и обозначившее переход к собственным религиозно-философским исканиям.

Всякий, кто берет на себя смелость предлагать свой взгляд на средневековую культуру как цельное явление, должен учитывать этот пусть сравнительно небольшой, но важный для русской академической традиции опыт обобщений. Напомню, что книга Гуревича вышла сорок лет назад, и уже этот

* Бицилли П. М. Элементы средневековой культуры. СПб., 1995. — *Здесь и далее примечания автора.*

** Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1984.

*** Карсавин Л. П. Культура Средних веков. М., 1995.

срок ставит перед историками задачу двигаться дальше. Задача не из простых, поскольку речь идет о труде, ставшем классическим не только на родине, но и за рубежом: ни одна работа по истории Средних веков, написанная на русском языке, не может соперничать с «Категориями» по количеству переводов и откликов на Западе и на Востоке, за исключением, может быть, книги Бахтина о Рабле. Однако некоторые особенности «Категорий» и их судьбы подтолкнули меня к тому, чтобы взяться за перо. Сам автор, его коллеги и друзья и вообще читатели советского (в меньшей степени постсоветского) времени воспринимали ее не только, а может, и не столько в строго научном ключе, но как своего рода интеллектуальный и даже гражданский манифест. Это отразилось как в отдельных пассажах книги (например, в явно «антисоветском» описании «холопско-деспотической» Византии, где, мол, все «сверху донизу были рабами»), так и в самом подборе «категорий»: право, собственность, личность... Внимательный читатель, а таких и сегодня немало, без труда заметит в «Категориях» бунтующую мысль, протест против бесправия личности в тоталитарном государстве и безликого схематизма в марксистской историографии.

В этом бунтарстве — несомненная прелесть «Категорий», залог их непреходящего успеха у поколений русских и зарубежных читателей. Однако явленная в них особая научно-гражданская творческая манера сама по себе уже стала фактом истории и нуждается в анализе, а значит, в продолжении и развитии. Пафос правдоискательства, обостренное чувство справедливости и несправедливости, свободы личности от ига каких-либо идеологий, неискоренимое желание позволить читателю услышать голос средневекового «безмолвствующего большинства», почувствовать колорит «народной» культуры — в отличие от некоей, видимо *нена-родной*, ученой культуры — все эти особенности творческого

наследия Гуревича не раз объяснялись и оправдывались им самим в выступлениях, интервью, воспоминаниях и статьях по общим проблемам исторического знания на страницах созданного им альманаха «Одиссей».

Приведу лишь одно его высказывание, которое сейчас может показаться патетическим, но тогда, в начале 1990-х, когда я юнцом слушал его последние лекции по средневековой культуре в МГУ, воспринималось всерьез и поэтому оказалось в моих конспектах: «Все в конце концов упирается в одно — в ответ на самому себе заданный вопрос: сколько капель рабства ты сумел из себя выдавить, в какой мере свободен твой дух?» Здесь не место обсуждать, кто из историков, следуя Чехову, сколько капель рабства из себя выдал. «Категории» с 1980-х гг. составили прекрасное дополнение лучшим книгам Дюби, Ле Гоффа, Леруа Ладюри и других представителей третьего поколения школы «Анналов». Они всегда считали Гуревича своим «послом» в русской науке и всегда подчеркивали, что его голос не звучал в подпевках, но вел собственную мелодию благодаря прежде всего активному привлечению скандинавского материала, пусть знакомого, но в основном из вторых рук, западным медиевистам. В результате, однако, средневековая культура у Гуревича периодически говорит с явным скандинавским акцентом. У Бицилли и Карсавина она говорит на итальянских диалектах позднего Средневековья с очевидными для слуха мистическими обертонами и желанием во всем найти «универсализм». Эта тяга к «универсализму» объяснима в историках начала XX в.: они писали в «одичавшем» мире*. Точно так же Хейзинга писал свою «Осень Средневековья», книгу

* Характерно, что Карсавин в 1918 г. умудрился основать в московском издательстве Г. А. Лемана серию «Библиотека мистиков» и издать свой перевод «Откровений бл. Анджелы из Фолиньо», труд довольно объемный и снабженный подробным введением, заканчивающимся кратким «*Sancta Angela, ora pro nobis*». Сам этот факт подсказывает,

по меньшей мере меланхолическую, на развалинах Европы, прошедшей через Первую мировую войну, тогда же, когда его антипод Шпенглер заканчивал «Закат Европы». Все эти обертоны, вполне объяснимые для своего времени, нуждаются если не в корректировке, то в дополнении.

Далее. Гуревич стремился к созданию, на основании привычных *нам* категорий, картины представлений средневекового общества о самом себе, моделей поведения, системы ценностей, социальных практик. Картина вышла убедительная и продуманная, но она по определению скрывает динамику развития и бурление жизни, присущие застою Средневековью, как и всякой иной эпохе. Динамика развития средневековой цивилизации, напротив, раскрывается в первой части знаменитой книги Жака Ле Гоффа «Цивилизация средневекового Запада», его любимой книге. Только ритм этого «времени большой длительности», как любили говорить историки их поколения, его пульсацию нельзя мерить приборами XXI в.: у средневекового человека не было в распоряжении даже газа, пара и нефти, не говоря уж о микропроцессоре! Это, однако, не значит, что христианский философ Николай Кузанский в XV в. мыслил *так же*, как христианский философ Августин в V в., а Рогир ван дер Вейден писал *так же*, как первые христианские художники, украсившие фресками катакомбы Италии. В том-то и состоят красота, и прелесть, и, если угодно, поучительность культурного наследия Средневековья. Вся система вроде бы задана заранее, но ни о каком интеллектуальном единообразии средневековой цивилизации не может быть речи. Обязательность догмы, стремление к ней не предполагали догматизма ни в одной стороне жизни и творчества средневекового человека.

что средневековый мир был для него убежищем от уже не «грядущих», а пришедших «гуннов» и «века-волкодава».

Гуревич это прекрасно знал и показывал во многих своих работах. Но, отчасти под влиянием Бахтина, он видел главное объяснение творческих потенций *своего* Средневековья в противопоставлении культуры народа, безмолвствующего, подавленного большинства, культуре ученой, главенствующей в дошедших до нас источниках, как в текстах, так и в памятниках изобразительного искусства, но отражающих мировоззрение подавляющего меньшинства средневекового общества. Как раз это противопоставление, генетически восходящее (если я что-то понял в Бахтине) к «Рождению трагедии из духа музыки», первой книге Ницше, очаровавшей наш «Серебряный век», вызывает у меня, вслед за некоторыми моими учителями, наибольшие сомнения*. При следовании демократическим ценностям, завоеванным Западной Европой в XX столетии, историку любой эпохи инстинктивно хочется сделать культуру изучаемого времени достоянием масс, но для этого приходится размывать границы культуры и *бескультурия*. Само отрицание культуры у масс как минимум звучит некорректно по отношению к массам. Даже если массам до этого дела нет, у них другие заботы, и это нормально.

При таком подходе через пятьдесят или сто лет будущий историк сможет анализировать какие-нибудь записи наших популярных телевизионных ток-шоу и мыльных опер как замечательные источники по истории ментальности, «ценностных ориентаций», «репрезентаций», «скреп». А уж если он доберется до цифровых следов наших пабликов и каналов... Его источники будут обладать замечательной репрезентативностью, а общество предстанет перед ним в самом объективном, статистическом свете, ведь у всех каналов подписчики и подписчики, и лайки. Если я не ассоциирую себя

* Пастуро М. Символическая история европейского Средневековья. СПб., 2012. С. 83.

с пабликами и каналами, но почему-то считаю себя частью культурного пространства моего мира, моей страны, то пападу в «подавленное меньшинство»? Или, упаси боже, в «догму», в охранители, в цензоры? Читая саги, хроники, судебники, рассматривая фрески и книжные миниатюры, сегодняшний медиевист типологически может выполнять ту же работу, которую над ним самим проделает его правнук. Но найдет ли он культуру — или что-то еще? То, что Бахтину и Гуревичу казалось народной реакцией на догму, как мы увидим, в свете последних исследований и благодаря изменению исследовательской оптики зачастую оказывается как раз проявлением вполне высоколобой церковной рефлексии или развитого, даже элитарного художественного сознания.

Система ценностных ориентаций, представления о вселенной, социальные практики, символические жесты и поступки, политические идеи — все это читатель найдет в моей книге. Я отбирал тот материал и рассказываю о тех явлениях, которые отразили прежде всего духовные искания, открытия и достижения средневекового человека, его ума и сердца, те «таланты», которые оказались в сокровищнице мировой культуры и, следовательно, важны для понимания нашего собственного места в истории человечества. Слово «дух» на всех языках исторической науки, не только на русском, звучит несколько старомодно, неопределенно, если не одиозно. Наверное, потому, что он, дух, по определению неуловим: как помнили в Средние века, он «дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит»*.

Я не склонен искать и раскрывать «дух эпохи», но все же буду говорить об этих не всегда уловимых исканиях и достижениях, не подчиняя их категориям, современным или

* Ин. 3:8.

ушедшим в прошлое, но раскрывая их в *образах*, в свою очередь понимаемых достаточно широко. Речь пойдет об образах осознанных, неосознанных или почти осознанных, запечатленных в текстах, в стихах и прозе (что не одно и то же), в произведениях искусства очень разного масштаба и разной значимости: от помещающихся в ладони до готических соборов. Я постараюсь, чтобы с читателем одновременно говорили на понятном для него языке, например, базилика, литургический предмет, символически украшенное императорское облачение, миниатюра в рукописи, скульптура, фреска, мозаика. В этих памятниках, как и в текстах, мы найдем отражение многих из тех категорий, которые послужили исследовательской матрицей Гуревичу и которые я вовсе не намерен сбрасывать со счетов.

На некоторые хорошо известные тексты и памятники я постараюсь посмотреть в новом ракурсе, в том числе используя собственный фотообъектив — сугубо субъективный инструмент фиксации образов прошлого. Всякий историк искусства знает, что точка зрения, принятая при анализе конкретного произведения, непосредственно влияет на содержание этого анализа. Этот закон непреложен и для Средневековья, поэтому познание его по иллюстрациям в современных альбомах и монографиях чревато незаметно подкрадывающимися ошибками. Мы найдем немало тому примеров. Связь между изобразительным искусством и словом понималась в Средние века принципиально иначе, чем сегодня, в этом читатель не раз сможет убедиться. Но я настаиваю на том, что обе эти важнейшие сферы духовной деятельности средневекового человека в одинаковой мере поучительны, обе оставили памятники, заслуживающие внимания, понимания и исторического анализа.

Христианство и культура

Под христианской культурой мы будем понимать важнейшие особенности мышления, свойственные человеку, жившему между IV и XV вв. в Западной Европе. Речь пойдет о тех проблемах, которые в разной мере волновали всех представителей средневекового общества, но прежде всего, конечно, тех, кто умел их выразить: словом, делом, в произведении искусства. Мы увидим, что они лишь отчасти совпадают с тем, что волнует нас сегодня. В то же время средневековый человек не вызывал бы у нас особого интереса, если бы он не был нашим далеким, но все же настоящим, законным предком. Его культура и картина мира ничем не затронули бы наше воображение, если бы мы — хоть в малой степени — не узнавали в нем самих себя.

При всей условности историко-культурных хронологических границ без них не обойтись, и выделение тысячелетия IV–XV вв. представляется наиболее обоснованным. IV столетие вывело христианство из подполья. «Долгий» V век, от Августина до Боэция, с одной стороны, христианизировал обе империи, Восточную и Западную, с другой — поставил точку на имперской истории Запада. Юстиниановская попытка вернуть Рим римлянам не смогла вернуть средиземноморской культуре единства под эгидой Константинополя и латыни. Точно так же «долгое» XVI столетие — его религиозное, художественное, политическое, научное мышление — коренным образом поменяло всю систему координат. И наверное, в нем следует проложить условную — очень широкую — пограничную полосу в большой истории западно-европейской культуры. Но и без IV в., формально и по сути входящего в историю античной цивилизации, трудно понять все дальнейшее развитие именно культуры.

Современная историография как никогда далека от единства по поводу хронологических и географических рамок Средневековья. Некоторые историки любят говорить о «долгом Средневековье», приблизительно от III до начала XIX в., от кризиса Римской империи и распространения христианства до индустриальной революции, ибо, говорят они, в истории мировоззрения много констант, то есть того, что не меняется. Такое Средневековье тяготеет к бесконечности, вбирая в себя и Возрождение, и Просвещение, то есть эпохи, строившие свое самосознание на отрицании Средневековья и его «предрассудков». Мы будем правы, если скажем, что у средневековых людей хватало предрассудков: они сами критиковали их не хуже, чем это делал Вольтер. Однако чуть критического взгляда на современное общество достаточно, чтобы удостовериться, что в нем их тоже немало. При желании можно даже прийти к выводу, что они в целом не изменились.

Можно также утверждать, как это часто и делается, что средневековые писатели, художники, ученые рабски следовали своим многочисленным авторитетам, историки были некритичны или бессовестно лживы и продажны. Если хороший современный автор будоражит наше воображение прикусом новизны и свежести, изяществом и неожиданными поворотами стиля, то хороший средневековый автор может похвастаться разве что удачно скомпилированной «суммой», списком вопросов и ответов, которые кажутся нам в лучшем случае забавными, а чаще — праздными. Во всех своих проявлениях Средневековье скучно, монотонно и неоригинально. Однако, рассуждая таким образом, мы слишком быстро сбрасываем с законного пьедестала идол авторитета в современной культуре, отнимаем у нее главное: преемственность.

Сегодня, как и тысячу лет назад, художник учится у мастера, как и прежде, заимствует у предшественников

формы и приемы мастерства. Отрицание канонов и правил в эпоху авангарда стало правилом: не отрицавший канонов и не предлагавший чего-нибудь совершенно «нового» не мог рассчитывать на свое место под солнцем Монмартра. Ученый, как и его предшественник-схоласт, должен снабдить свое исследование многоэтажным критическим аппаратом из ссылок, цитат и библиографии. Смелые физики, кратко и доходчиво растолковывая нам модель мироздания и раскрывая историю времени, оптимистически утверждают, что, если мы найдем ответ на вопрос, почему существуем мы сами и наша Вселенная, «это будет окончательным триумфом человеческого разума, ибо тогда нам откроется Божественный замысел»*. Логику работы журналиста и его начальства при отборе материала для телепередачи или блога можно анализировать с помощью тех же исследовательских приемов, что и хронику, написанную в XV в. по заказу аббата, герцога, короля или парламента. Далеко ли мы от Средневековья? Или оно — предостережение от «притязаний на исключительность»?**

В средневековом сознании очень важно было понятие канона, то есть заранее заданных правил, которым нужно следовать в жизни и творчестве. «Свобода творчества», «свободомыслие», ниспровержение канонов и авторитетов, постоянная смена вех и течений, определившие культуру XX в., наследницу авангарда, — все это создало свои непреложные законы, которые подчинили себе мировоззрение и поведение индивидов. Вряд ли кому-нибудь пришло бы

* Хокинг С., Млодинов Л. Кратчайшая история времени / Пер. Н. Смородиной. М., 2006. С. 165; Kanitscheider В. Kosmologie. Geschichte und Systematik in philosophischer Perspektive. Stuttgart, 1984. S. 436–459.

** Ясперс К. Смысл и назначение истории / Пер. М. И. Левиной. М., 1994. С. 49.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru